



**Д. И. ФОНВИЗИН**

## **Рассуждение о непременных государственных законах**

Верховная власть вверяется государю для единого блага его подданных. Сию истину тираны знают, а добрые государи чувствуют. Просвещенный ясностию сея истины и великими качествами души одаренный монарх, облекшись в неограниченную власть и стремясь к совершенству поскольку смертному возможно, сам тотчас ощутит, что власть делать зло есть не совершенство и что прямое самовластие тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к соделанию какого-либо зла. И действительно, все сияние престола есть пустой блеск, когда добродетель не сидит на нем вместе с государем; но, вообразя его таковым, которого ум и сердце столько были б превосходны, чтоб никогда не удалялся он от общего блага и чтоб сему правилу подчинил он все свои намерения и деяния, кто может подумать, чтоб сею подчиненностию беспредельная власть его ограничивалась? Нет, она есть одного свойства со властию существа вышнего. Бог потому и всемогущ, что не может делать ничего другого, кроме блага<sup>1</sup>; а дабы сия невозможность была бесконечным знамением его совершенства, то постановил он правила вечные, истины для самого себя непреложные, по коим управляет он вселенною и коих, не престав быть Богом, сам преступить не может. Государь, подобие Бога, преемник на земле вышней его власти, не может равным образом ознаменовань ни могущества, ни достоинства своего иначе, как постановя в государстве своем правила непреложные, основанные на благе общем, и которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным государем.

Без сих правил или, точнее объяснить, без непременных государственных законов не прочно ни состояние государства, ни состояние государя. Не будет той подпоры, на которой бы их общая сила утвердилась. Все в намерениях полезнейшие установления никакого основания иметь не будут. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб преемнику не угодно было в один час уничтожить все то, что во все прежние царствования устанавливаемо было? Кто поручится, чтоб сам законодатель, окруженный неотступно людьми, затмевающими пред ним истину, не разорил того сегодня, что созидал вчера? Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть государство, но нет отечества, есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей<sup>2</sup>. Одно пристрастие бывает подвигом всякого узаконения, ибо не нрав государя приноравливается к законам, но законы к его праву. Какая же доверенность, какое почтение может быть к законам, не имеющим своего естественного свойства, то есть соображения с общею пользою? Кто может дела свои располагать тамо, где без всякой справедливой причины завтра вменится в преступление то, что сегодня не запрещается? Тут каждый, подвержен будучи прихотям и неправосудию сильнейших, не считает себя в обязательстве наблюдать того с другими, чего другие с ним не наблюдают.

Тут, с одной стороны, на законы естественные, на истины ощутительные дерзкое невежество требует доказательств и без указа им не повинуется, когда, с другой стороны, безумное веление сильного с рабским подобострастием непрекословно исполняется. Тут, кто может, повелевает, но никто ничем не управляет, ибо править должныствовали бы законы, кои выше себя ничего не терпят. Тут подданные порабощены государю, а государь обыкновенно своему недостойному *любимцу*. Я назвал его недостойным потому, что название *любимца* не приписывается никогда достойному мужу, оказавшему отечеству истинные заслуги, а принадлежит обыкновенно человеку, достигшему высоких степеней по удачной своей хитрости нравиться государю. В таком развращенном положении злоупотребление самовластия восходит до невероятности, и уже престаёт всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцевым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен. Пороки любимца не только входят

в обычай, но бывают почти единым средством к возвышению. Если любит он пьянство, то сей гнусный порок всех вельможей заражает. Если дух его объят буйством и дурное воспитание приучило его к подлому образу поведения, то во время его знати поведение благородное бывает уже довольно заградить путь к счастью; но если провидение в лютейшем своем гневе к человеческому роду попускает душою государя овладеть чудовищу, которое все свое любочестие полагает в том, чтоб государство неминуемо было жертвою насильств и игрищем прихотей его; если все уродливые движения души влекут его первенствовать только богатством, титулами и силою вредить; если взор его, осанка, речь ничего другого не знаменуют, как «боготворите меня, я могу вас погубить»; если беспредельная его власть над душою государя препровождается в его душе бесчисленными пороками; если он горд, нагл, коварен, алчен к обогащению, сластолюбец, бесстыдный, ленивец — тогда нравственная язва становится всеобщей, все сии пороки разливаются и заражают двор, город и, наконец, государство. Вся молодость становится надменна и принимает тон буйственного презрения ко всему тому, что должно быть почтенно. Все узы благочиния расторгаются, и, к крайнему соблазну, ни век, изнуренный в служении отечества, ни сан, приобретенный истинною службою, не ограждают почтенного человека от нахальства и дерзости едва из ребят вышедших и одним случаем поднимаемых негодниц. Коварство и ухищрение приемлется главным правилом поведения. Никто нейдет стезею, себе свойственною. Никто не намерен заслуживать; всякий ищет выслуживать. В сие благопоспешное недостойным людям время какого воздаяния и могут ожидать истинные заслуги или, паче, есть ли способ оставаться в службе мыслящему и благородное любочестие имеющему гражданину? Какой чин, какой знак почести, какое место государственное не изглажено скардным прикосновением пристрастного покровительства? Посвятя жизнь свою военной службе, лестно ль дослуживаться до полководства, когда вчерашний капрал, неизвестно кто и неведомо за что, становится сегодня полководцем и принимает начальство над заслуженным и ранами покрытым офицером? Лестно ль быть судьей, когда правосудным быть не позволяется? Тут алчное корыстолюбие довершает общее развращение. Головы занимаются одним примышлением средств к обогащению. Кто может — грабит, кто не может — крадет, и когда государь без непреложных государственных законов зиждет на песке свои здания и, выдавая

непрестанно частные уставы, думает истреблять вредные государству откупы, тогда не знает он того, что в государстве его ненаказанность всякого преступления давно на откуп, что для бессовестных хищников стало делом единого расчета исчислить, что принесет ему преступление и во что милостивый указ стать ему может. Когда же правосудие претворилось в торжище и можно бояться потерять без вины свое и надеяться без права взять чужое, тогда всякий спешит наслаждаться без пощады тем, что в его руках, угождая развращенным страстям своим. И что может остановить стремление порока, когда идол самого государя пред очами целого света в самых царских чертогах водрузил знамя беззакония и нечестия: когда, насыщая бесстыдно свое сластолюбие, ругается он явно священными узами родства, правилами чести, долгом человечества и пред лицом законодателя божеские и человеческие законы попирает дерзает? Не вхожу я в подробности гибельного состояния дел, исторгнутых им под особенное его начальство; но вообще видим, что если, с одной стороны, заразивший его дух любоначалия кружит все головы, то, с другой — дух праздности, поселивший в него весь ад скуки и нетерпения, распространяется далеко, и привычка к лености укореняется тем сильнее, что рвение к трудам и службе почти оглашено дурачеством, смеха достойным.

После всего мною сказанного и живым примером утверждаемого не ясно ль видим, что не тот государь самовластнейший, который на недостатке государственных законов чаёт утвердить свое самовластие. Порабощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец? Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? Подобен будучи прозрачному телу, чрез которое насквозь видны действующие им пружины, тщетно пишет он новые законы, возвещает благоденствие народа, прославляет премудрость своего правления: новые законы его будут не что иное, как новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угнетен, дворянство унижено, и, несмотря на собственное его отвращение к тиранству, правление его будет правление тиранское. Нация тем не меньше страждет, что не сам государь принял ее терзать, а отдал на расхищение извергам, себе возлюбленным. Таковое положение долго и устоять не может. При крайнем ожесточении сердец все частные интересы, раздробленные существом деспотического правления, нечувствительно в одну точку соединяются. Вдруг все устремляются расторгнуть узы нестерпимого порабощения. И тогда что есть государство?

Колосс, державшийся цепями. Цепи рвутся, колосс падает и сам собою разрушается. Деспотичество, рождающееся обыкновенно от анархии, весьма редко в нее опять не возвращается.

Для отвращения таковые гибели государь должен знать во всей точности все права своего величества, дабы, первое, содержать их у своих подданных в почтении и, второе, чтоб самому не преступить пределов, ознаменованных его правам самодержавнейшею всех на свете властью, а именно властью здравого рассудка. До первого достигает государь правотою, до второго кротостию.

Правота и кротость суть лучи божественного света, возвещающие людям, что правящая ими власть поставлена от Бога и что достойна она благоговейного их повиновения: следственно, всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от Бога, но от людей, коих несчастья времен попустили, уступая силе, унижить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация буде находит средства разорвать свои оковы тем же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, если разрывает. Тут дело ясное. Или она теперь вправе возвратить свою свободу, или никто не был вправе отнимать у ней свободы<sup>3</sup>. Кто не знает, что все человеческие общества основаны на взаимных добровольных обязательствах, кои разрушаются так скоро, как их наблюдать перестают. Обязательства между государем и подданными суть равным образом добровольные, ибо не было еще в свете нации, которая насильно принудила бы кого стать ее государем; и если она без государя существовать может, а без нее государь не может, то очевидно, что первобытная власть была в ее руках и что при установлении государя не о том дело было, чем он нацию пожалует, а какою властью она его облакает. Возможно ль же, чтоб нация добровольно постановила сама закон, разрешающий государю делать неправосудие безотчетно?

Не стократно ль для нее лучше не иметь никаких законов, нежели иметь такой, который дает право государю делать всякие насильства? А потому и должен он быть всегда наполнен сею великою истиною, что он установлен для государства и что собственное его благо от счастья его подданных долженствует быть неразлучно.

Рассматривая отношения государя к подданным, первый вопрос представляется разуму, что же есть государь? Душа

правимого им общества. Слаба душа, если не умеет управлять прихотливыми стремлениями тела. Несчастно тело, над коим властвует душа безрассудная, которая чувствам, своим истинным министрам, или вовсе вверяется, или ни в чем не доверяет. Положась на них, беспечно принимает кучу за гору, планету за точку; но, буде презирает она их служение, буде возмечтает о себе столько, что захочет сама зажмурясь видеть и заткнув уши слышать, какой правильной разрешимости тогда ожидать от нее можно и в какие напасти она сама себя не завлекает!

Государь, душа политического тела, равной судьбине подвергается. Отверзает ли он слух свой на всякое внушение, отвращает ли оный от всяких представлений, уже истина его не просвещает; но если он сам и не признает верховной ее власти над собою, тогда все отношения его к государству в источниках своих развращаются: пойдут различия между его благом и государственным; тотчас поселяется к нему ненависть; скоро сам он начинает бояться тех, кои его ненавидят, и ненавидеть тех, которых боится, — словом, вся власть его становится незаконная; ибо не может быть законна власть, которая ставит себя выше всех законов естественного правосудия.

Просвещенный ум в государе представляет ему сие заключение, без сомнения, во всей ясности, но просвещенный государь есть тем не больше человек. Он как человек рождается, как человек умирает и в течение своей жизни как человек погрешает: а потому и должно рассмотреть, какое есть свойство человеческого просвещения. Между первобытным его состоянием в естественной его дикости и между истинного просвещения расстояние толь велико, как от неизмеримой пропасти до верху горы высочайшей. Для восхождения на гору потребно человеку пространство целой жизни; но, взошед на нее, если позволит он себе шагнуть чрез черту, разделяющую гору от пропасти, уже ничто не останавливает его падения и он погружается опять в первобытное свое невежество. На самом пороге сея страшные пропасти стоит просвещенный государь. Стражи, не допускающие его падение, суть правота и кротость. В тот час, как он из рук их себя исторгает, гибель его совершается, меркнет свет душевных очей его, и, летя стремглав в бездну, вопиет он вне ума: «Все мое, я — все, все — ничто».

Державшийся правоты и кротости просвещенный государь не поколеблется никогда в истинном своем величестве, ибо

свойство правоты таково, что самое ее никакие предубеждения, ни дружба, ни склонности, ни самое сострадание поколебать не могут. Сильный и немощный, великий и малый, богатый и убогий, все на одной чреде стоят, — добрый государь добр для всех, и все уважения его относятся не к частным выгодам, но к общей пользе. Сострадание производится в душе его не жалобным лицом обманывающего его корыстолюбца, но истинною бедностию несчастных, которых он не видит и которых жалобы часто к нему не допускаются. При всякой милости, оказуемой вельможе, должен он весь свой народ иметь пред глазами. Он должен знать, что государственным награждается одна заслуга государству, что не повинно оно платить за угождения его собственным страстям и что всякий налог, взыскуемый не ради пользы государства, есть грабеж в существе своем и форме. Он должен знать, что нация, жертвуя частью естественной своей вольности, вручила свое благо его попечению, его правосудию, его достоинству; что он отвечает за поведение тех, кому вручает дел правление, и что, следовательно, их преступления, им терпимые, становятся его преступлениями. Тщетно государь помыслил бы оправдаться тем, что сам он пред отечеством невинен и что тем весь долг свой пред ним исполняет. Нет, невинность его есть платеж долгу, коим он сам себе должен: но государству все еще должником остается. Он повинен отвечать ему не только за дурно, которое сделал, но и за добро, которого не сделал. Всякое поущение — его вина, всякая жестокость — его вина, ибо он должен знать, что послабление пороку есть одобрение злодеяниям и что, с другой стороны, настрожайшее правосудие над слабостями людскими есть наивеличайшая человечеству обида. К несчастью подданных, приходит иногда на государя такая полоса, что он ни о чем больше не думает, как о том, что он государь; иногда ни о чем больше, как о том, что он человек. В первом случае обыкновенно походит он в делах своих на худого человека, во втором бывает неминуемо худым государем. Чтоб избегнуть сих обеих крайностей, государь ни на один миг не должен забывать ни того, что он человек, ни того, что он государь. Тогда бывает он достоин имени премудрого. Тогда во всех своих деяниях вмещает суд и милость. Ничто за черту свою не преступает. Кто поведением своим возмущает общую безопасность, предается всей строгости законов. Кто поведением своим бесчестит самого себя, наказывается его презрением. Кто не рачит о должности, теряет свое место. Словом, государь, правоту наблюдающий, исправляет

всечасно пороки, являя им грозное чело, и утверждает добродетель, призывая ее к почестям.

Правота делает государя почтенным; но кротость, сия человечеству любезная добродетель, делает его любимым. Она напоминает ему непрестанно, что он человек и правит людьми. Она не допускает поселиться в его голову несчастной и нелепой мысли, будто Бог создал миллионы людей для ста человек. Между кротким и горделивым государем та ощутительная разница, что один заставляет себя внутренно обожать, а другой наружно боготворить; но кто принуждает себя боготворить, тот внутри души своей, видно, чувствует, что он человек. Напротив того, кроткий государь не возвышается никогда унижением человечества. Сердце его чисто, душа права, ум ясен. Все сии совершенства представляют ему живо все его должности. Они твердят ему всечасно, что государь есть первый служитель государства; что преимущества его распространены нацию только для того, чтоб он в состоянии был делать больше добра, нежели всякий другой; что силою публичной власти, ему вверенной, может он жаловать почести и преимущества частным людям, но что самое нацию ничем пожаловать не может, ибо она дала ему все то, что он сам имеет; что для его же собственного блага должен он уклоняться от власти делать зло и что, следственно, желать деспотичества есть не что иное, как желать найти себя в состоянии пользоваться сею пагубною властью. Невозможность делать зло может ли быть досадна государю? А если может, так разве для того, что дурному человеку всегда досадно не смочь делать дурна. Право деспота есть право сильного: но и разбойник то же право себе присвоит. И кто не видит, что изречение *право сильного* выдуманно в посмеяние. В здравом разуме сии два слова никогда вместе не встречаются. Сила принуждает, а право обязывает. Какое же то право, которому повинуются не по должности, а по нужде и которое в тот момент у силы исчезает, когда большая сила стогнет ее с места<sup>4</sup>. Войдем еще подробнее в существо сего мнимого права. Потому что я не в силах кому-нибудь сопротивляться, следует ли из того, чтоб я морально обязан был признавать его волю правилом моего поведения? Истинное право есть то, которое за благо признано рассудком и которое, следственно, производит некое внутреннее чувство, обязывающее нас повиноваться добровольно. В противном случае повиновение не будет уже обязательство, а принуждение. Где же нет обязательства, там нет и права. Сам Бог в одном своем качестве существа всемогущего не имеет ни малейшего



права на наше повиновение. Вообразим себе существо всемогущее, которое не только ко всему принудить, но и вовсе истребить нас может, которое захотело бы сделать нас несчастными или по крайней мере не захотело бы никак пещись о нашем благе, тогда чувствовали ли бы мы в душе обязанность повиноваться сей вышней воле, клонящейся к нашему бедствию или нас пренебрегающей? Мы уступили бы по нужде ее всемогуществу, и между Богом и нами было б не что иное, как одно физическое отношение. Все право на наше благоговейное повиновение имеет Бог в качестве существа всеблагого. Рассудок, признавая благим употребление его всемогущества, советует нам соображаться с его волею и влечет сердца и души ему повиноваться. Существо всеблагому может ли быть приятно повиновение, вынужденное одним страхом? И такое гнусное повиновение прилично ль существу, рассудком одаренному? Нет, оно недостойно ни разумного повелителя, ни разумных исполнителей. Сила и право совершенно различны как в существе своем, так и в образе действия. Праву потребны достоинства, дарования, добродетели. Силе надобны тюрьмы, железы, топоры. Совсем излишне входить в толки о разностях форм правления и разыскивать, где государь самовластнее и где ограниченнее. Тиран, где б он ни был, есть тиран, и право народа спасти бытие свое пребывает вечно и везде непоколебимо.

Истинное блаженство государя и подданных тогда совершенно, когда все находятся в том спокойствии духа, которое происходит от внутреннего удостоверения о своей безопасности. Вот прямая *политическая вольность* нации. Тогда всякий волен будет делать все то, чего позволено хотеть, и никто не будет принуждать делать того, чего хотеть не должно; а дабы нация имела сию вольность, надлежит правлению быть так устроено, чтоб гражданин не мог страшиться злоупотребления власти; чтоб никто не мог быть игралищем насильств и прихотей; чтоб по одному произволу власти никто из последней степени не мог быть взброшен на первую, ни с первой свергнут на последнюю; чтоб в лишении имения, чести и жизни одного дан был отчет всем и чтоб, следственно, всякий беспрестанно пользоваться мог своим именем и преимуществами своего состояния.

Когда ж свободный человек есть тот, который не зависит ни от чьей прихоти; напротив же того, раб деспота тот, который ни собою, ни своим имением располагать не может и который на все то, чем владеет, не имеет другого права, кроме

высочайшей милости и благоволения, то по сему истолкованию политической вольности видна неразрывная связь ее с правом *собственности*. Оно есть не что иное, как право пользоваться; но без вольности пользоваться, что оно значит? Равно и вольность сия не может существовать без права, ибо тогда не имела бы она никакой цели; а потому и очевидно, что нельзя никак нарушать вольности, не разрушая права собственности, и нельзя никак разрушать права собственности, не нарушая вольности.

При исследовании, в чем состоит величайшее благо государств и народов и что есть истинное намерение всех систем законодательства, найдем необходимо два главнейшие пункта, а именно те, о коих теперь рассуждаемо было: *вольность и собственность*. Оба сии преимущества, равно как и форма, каковою публичной власти действовать, должны быть устроены сообразно с физическим положением государства и моральным свойством нации. Священные законы, определяющие сие устройство, разумеем мы под именем законов фундаментальных. Ясность их должна быть такова, чтоб ни малейшего недоразумения никогда не повстречалось, чтоб из них монарх и подданный равномерно знали свои должности и права. От сих точно законов зависит общая их безопасность, следовательно, они и должны быть неизменными.

Теперь представим себе государство, объемлющее пространство, какового ни одно на всем известном земном шаре не объемлет и которого по мере его обширности нет в свете малолюднее; государство, раздробленное с лишком на тридцать больших областей и состоящее, можно сказать, из двух только городов, из коих в одном живут люди большею частию по нужде, в другом большею частию по прихоти; государство, многочисленным и храбрым своим воинством страшное и которого положение таково, что потеряннем одной баталии может иногда бытие его вовсе истребиться; государство, которое силою и славою своею обращает на себя внимание целого света и которое мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся, никем не предводимый, может привести, так сказать, в несколько часов на самый край конечного разрушения и гибели; государство, дающее чужим землям царей и которого собственный престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян, охраняющих безопасность царския особы; государство, где есть все политические людей состояния, но где некоторое не имеет никаких преимуществ и одно от другого пустым только именем различается; государ-

ство, движимое вседневными и часто друг другу противуречащими указами, но не имеющее никакого твердого законоположения; государство, где люди составляют собственность людей, где человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьей над человеком другого состояния, где каждый, следственно, может быть завсегда или тиран, или жертва; государство, в котором почтеннейшее из всех состояний, долженствующее оборонять отечество купно с государем и корпусом своим представлять нацию, руководствуемое одною честью, *дворянство*, уже именем только существует и продается всякому подлецу, ограбившему отечество; где знатность, сия единственная цель благородных души, сие достойное возмездие заслуг, от рода в род оказываемых отечеству, затмевается фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия; государство не деспотическое: ибо нация никогда не отдавала себя государю в самовольное его управление и всегда имела трибуналы гражданские и уголовные, обязанные защищать невинность и наказывать преступления; не монархическое: ибо нет в нем фундаментальных законов; не аристократия: ибо верховное в нем правление есть бездушная машина, движимая произволом государя; на демократию же и походить не может земля, где народ, пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства.

Просвещенный и добродетельный монарх, застав свою империю и свои собственные права в такой несообразности и неустройстве, начинает великое свое служение немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных. В сем главном деле не должен он из глаз выпускать двух уважений: первое, что государство его требует немедленного врачевания от всех зол, приключаемых ему злоупотреблением самовластия; второе, что государство его ничем так скоро не может быть подвергнуто конечному разрушению, как если вдруг и не приуготовя нацию дать ей преимущества, коими наслаждаются благоучрежденные европейские народы. При таком соображении, каковы могут быть первые фундаментальные законы, прилагается при сем особенное начертание.

В заключение надлежит признать ту истину, что главнейшая наука правления состоит в том, чтоб уметь сделать людей способными жить под добрым правлением. На сие никакие именныя указы не годятся. Узаконение быть добрыми не подходит ни под какую главу Устава о благочинии. Тщетно было бы вырезывать его на досках и ставить на столы в управах; буде не врезано оно в сердце, то все управы будут

плохо управляться. Чтоб устроить нравы, нет нужды ни в каких пышных и торжественных обрядах. Свойство истинного величества есть то, чтоб наивеличайшие дела делать наипростейшим образом. Здравый рассудок и опыты всех веков показывают, что одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках пружина, куда повернуть людей: к добродетели или пороку. Все на него смотрят, и сияние, окружающее государя, освещает его с головы до ног всему народу. Ни малейшие его движения ни от кого не скрываются, и таково есть счастливое или несчастное царское состояние, что он ни добродетелей, ни пороков своих утаить не может. Он судит народ, а народ судит его правосудие. Если ж надеется он на разращение своей нации столько, что думает обмануть ее ложною добродетелью, сам сильно обманывается. Чтоб казаться добрым государем, необходимо надобно быть таким; ибо как люди порочны ни были б, но умы их никогда столько не испорчены, сколько их сердца, и мы видим, что те самые, кои меньше всего привязаны к добродетели, бывают часто величайшие знатоки в добродетелях. Быть узлану есть необходимая судьбина государей, и достойный государь ее не устращается. Первое его титло есть титло честного человека, а быть узлану есть наказание лицемера и истинная награда честного человека. Он, став узлан своею нациею, становится тотчас образцом ее. Почтение его к заслугам и летам бывает наистрожайшим запрещением всякой дерзости и нахальству. Государь, добрый муж, добрый отец, добрый хозяин, не говоря ни слова, устрояет во всех домах внутреннее спокойство, возбуждает чадолубие и самодержавнейшим образом запрещает каждому выходить из мер своего состояния. Кто не любит в государе мудрого человека? А любимый государь чего из подданных сделать не может? Оставляя все тонкие разборы прав политических, спросим себя чистосердечно: кто есть самодержавнейший из всех на свете государей? Душа и сердце возопиют единогласно: тот, кто более любим.

